

ГИЛБЕРТ КИТ
GILBERT KITT
CHESTERTON

G.K. Chesterton

ЧЕСТЕРТОН

• ПЯТЬ ПРАВЕДНЫХ
ПРЕСТУПНИКОВ •



Честертон Г. К.

Пять праведных преступников

Бм.: Пальмира Т8 Издательские технологии, 2020

Содержание

1. Пролог (пер. Наталья Леонидовна Трауберг)
2. Умеренный убийца (пер. Елена Александровна Суриц)
3. Честный шарлатан (пер. Наталья Леонидовна Трауберг)
4. Восторженный вор (пер. Наталья Леонидовна Трауберг)
5. Преданный предатель (пер. Елена Александровна Суриц)
6. Эпилог (пер. Елена Александровна Суриц)

Гилберт Кит Честертон

Умеренный убийца

1. Человек с зеленым зонтиком

Новым губернатором был лорд Толбойз, известный более как Цилиндр-Толбойз по причине приверженности своей к этому жуткому сооружению, которое он продолжал носить под пальмами Египта с той же безмятежностью, как нашивал, бывало, под фонарями Вестминстера. Да, он преспокойно носил его в тех землях, где лишь немногим вещам не грозило падение. Область, которой явился он руководить, будет здесь означена с дипломатической уклончивостью, как уголок Египта, и для нашего удобства названа Полибией. Теперь уже это старая история, хотя многие не без основания помнят о ней долгие годы; но тогда это было событие государственной важности. Одного губернатора убили, другого чуть не убили; в нашем же рассказе речь пойдет лишь об одной из трагедий, и то была трагедия, скорее, личного и даже частного свойства.

Цилиндр-Толбойз был холостяк, однако привез с собой семью – племянника и двух племянниц, из которых одна была замужем за заместителем губернатора, назначенного править на время междуцарствия после убийства предыдущего правителя. Вторая племянница была незамужняя; звали ее Барбара Трэйл; и она, пожалуй, и явится первой на нашей сцене.

Итак, обладая весьма необычной, выдающейся внешностью, иссиня-черными волосами и очень красивым, хоть и печальным профилем, она пересекла песчаное пространство и укрылась наконец под длинной низкой стеной, отбрасывавшей тень от клонящегося к пустынному горизонту солнца. Сама по себе стена эта представляла образец эклектики, характеризующей рубеж между Востоком и Западом. Собственно, ее составлял длинный ряд небольших домов, предназначенных для мелких служащих и незначительных чиновников и выстроенных как бы созерцательным строителем, склонным созерцать все концы света сразу, – нечто вроде Оксфорд-стрит среди руин Гелиополиса. Такие странности нередки, когда старейшие страны оборачиваются новейшими колониями. Но в данном случае юная дама, не лишенная воображения, отметила прямо-таки разительный контраст. Каждый из кукольных домиков имел при себе узкую полоску сада, спускавшуюся к общей длинной садовой стене; и вдоль этой стены бежала каменистая тропка, обсаженная редкими, седыми и корявыми оливами. А за этой полосой олив уходили в пустынную даль пески. И уж за ними где-то далеко-далеко угадывались смутные очертания треугольника, математического символа, ненатурального своею простотой, вот уже пять тысяч лет пленяющего всех пилигримов и поэтов. Каждый, завидя его впервые, не может не воскликнуть, вот как наша героиня: «Пирамиды!»

Едва она это произнесла, какой-то голос шепнул ей в ухо не громко, но с пугающей отчетливостью: «Что на крови построено, то снова кровью окропится... Это записано нам в назидание».

Мы уже упомянули, что Барбара Трэйл была не лишена воображения; верней было бы сказать о воображении чересчур богатом. Но она готова была поклясться, что голос – не плод ее воображения; хотя откуда он раздался у нее над ухом, воображение ее отказывалось понять. Она в полном одиночестве стояла на тропе, бежавшей вдоль стены и ведущей к садам вокруг резиденции губернатора. Наконец она вспомнила про самую стену и, быстро глянув через плечо, увидела голову – если ей это не почудилось, высунувшуюся из-за тени смоковницы – единственного дерева поблизости, потому что она уже оставила на сто метров позади последнюю хилую оливу. Как бы то ни было, голова – если это была голова – тотчас скрылась; и тут-то Барбара испугалась; она больше испугалась исчезновения, нежели появления головы (или не головы?). Барбара ускорила шаг, она уже почти бежала к дядюшкиной резиденции. Возможно, именно

благодаря этому внезапному ускорению она почти сразу же заметила, что некто спокойно продвигается впереди нее той же тропкой к губернаторскому дому.

То был весьма крупный мужчина; он занимал всю узкую тропу. У Барбары явилось уже несколько знакомое ей ощущение, будто она идет следом за верблюдом по узкой улочке в восточном городишке. Но человек этот ставил ноги тяжело, как слон; он вышагивал, можно сказать, даже с некоторой помпой, как бы в торжественной процессии. Он был в длиннющем сюртуке, и голову его венчала высоченная красная феска, выше даже, чем цилиндр лорда Толбойза.

Сочетание красного восточного головного убора с черным западным костюмом – нередко среди эфенди тех краев. Но в данном случае оно казалось неожиданным и странным, потому что мужчина был светловолос и длинная белокурая борода его развевалась на ветру. Он мог бы послужить моделью для идиотов, рассуждающих о нордическом типе европейца. Подцепив ручку одним пальцем, он, как игрушкой, помахивал дурацким зеленым зонтиком. Он все замедлял шаг, а Барбара все ускоряла и потому едва удержалась, чтоб не вскрикнуть или, например, просто попросить его посторониться. Тут мужчина с бородой оглянулся и на нее уставился; потом поднял монокль, укрепил в глазу и тотчас рассыпался в улыбчивых извинениях. Она сообразила, что он близорук и минуту назад она была для него не более как мутное пятно; но было еще что-то в перемене его лица и поведения, что ей и раньше случалось видывать, но чему она не могла найти названия.

С безупречной учтивостью он объяснил, что направляется в резиденцию оставить записку для одного чиновника; и у Барбары не было решительно ни малейших оснований ему не верить и уклониться от беседы. Они пошли рядом, болтая о том, о сем; и не успели они обменяться несколькими фразами, как Барбара поняла, что имеет дело с человеком необыкновенным.

Сейчас много приходится слышать об опасностях, каким подвергается невинность; много вздора, а кое-что и разумно. Но речь, как правило, вдет о невинности сексуальной. А ведь немало можно сказать и об опасностях, навлекаемых невинностью политической. Например, необходимейшая, благороднейшая добродетель патриотизма очень часто приводит к отчаянию и гибели, нелепой и безвременной из-за того, что высшие слои общества нелепо воспитываются в духе ложного оптимизма относительно роли и чести империи. Молодые люди империи вроде Барбары Трэйл, как правило, никогда не слыхивали о мнении другой стороны, например о том, что сказал бы на сей счет ирландец, или индеец, или, например, канадский француз; и вина родителей и газет, что этих молодых людей вдруг шарахает от глупого британизма к столь же глупому большевизму. Час Барбары Трэйл пробил; хоть сама она едва ли об этом догадалась.

– Если Англия сдержит слово, – насупясь, говорил бородач, – все еще может обойтись благополучно.

И Барбара выпалила, как школьница:

– Англия всегда держит слово.

– Вабе этого не случалось замечать, – ответил он не без торжества.

Всезнающий нередко страдает невежеством, особенно – невежеством по части своего неведения. Незнакомец воображал, что возражение его неопровержимо; таким оно и было, возможно, для всякого, кто знал бы, что он имел в виду. Но Барбара не знала о Вабе ни сном ни духом. Об этом позаботились газеты.

– Британское правительство, – говорил он, – уже два года назад решительно пообещало полную программу местной автономии. Если программа будет полной – все прекрасно. Если же лорд Толбойз выдвинет неполную программу, некий компромисс – это отнюдь не прекрасно. И мне в таком случае будет от души жаль всех, в особенности моих английских друзей.

Она отвечала юной, невинной усмешкой:

– О! Вы, уж конечно, большой друг англичан.

– Да, – ответил он спокойно. – Друг. Но друг искренний.

– Знаю, знаю, что это такое, – отвечала она с пылкой убежденностью, – знаю я, что такое искренний друг. Я всегда замечала, что на поверку это злой, насмешливый и коварный друг-предатель.

Секунду он помолчал, будто сильно задетый, а потом ответил:

– Вашим политикам нет нужды учиться коварству у египтян. – Потом прибавил резко: – А вы знаете, что во время рейда лорда Джеффри убили ребенка? Нет? Не знаете? Но вы знаете хотя бы, как Англия припаяла Египет к своей империи?

– У Англии – великая империя, – гордо отвечала патриотка.

– У Англии была великая империя, – сказал он. – У нас был Египет.

Они, несколько символически, прошли свой общий путь до конца, и, когда дороги их разошлись, Барбара в негодовании свернула к своим воротам. Ее спутник поднял зеленый зонт и величавым жестом указал на темные пески и пирамиду вдалеке. Вечер окрасился уже в цвета заката, солнце на длинных багряных лентах раскачивалось над розовой пустыней.

– Великая империя, – проговорил он. – Страна незакатного солнца... Какой, смотрите, кровавый, однако, закат...

Она влетела в тяжелую калитку, как ветер, хлопнув ею.

Поднимаясь по аллее к внутренним владениям, она немного успокоилась, сделала нетерпеливый шаг и пошла более ей свойственной задумчивой походкой. За нею словно смыкались смирившиеся цвета и тени; она подошла совсем близко к дому; и в конце далекого сплетения веселых тропок она уже видела свою сестру Оливию, собирающую цветы.

Зрелище ее успокоило; хоть ей и странно показалось, что она нуждается в успокоении. В душе осело пренеприятное ощущение, будто она коснулась чего-то чуждого, жуткого, чего-то непонятного и жесткого, как если бы погладила дикого, странного зверя. Но сад вокруг и дом за садом, несмотря на столь недавний приезд сюда англичан и небо Африки над ними, уже обрел неопишимо английские тона.

И Оливия так очевидно собирала цветы для того, чтобы их поставить в английские вазы или украсить ими английский обеденный стол с графинами и солеными орешками.

Однако, подойдя поближе, Барбара немало удивилась.

Цветы, собранные рукой сестры, были будто оборваны небрежными охотками, выдернуты, как трава, которую человек щипал, дергал, лежа на ней, в задумчивости или раздражении. Несколько стеблей валялось на тропке, будто головки обломал ребенок. Барбара сама не понимала, почему эти мелочи так ее задели, покуда не посмотрела на центральную фигуру. Оливия подняла взгляд. Лицо ее было страшно, как лицо Медеи, собирающей ядовитые цветы.

2. Станный мальчик

Барбара Трэйл была девушкой, в которой много мальчишества. Такое часто говорят о современных героинях. Однако наша героиня была совсем другое дело. Нынешние писатели, заявляющие о мальчишестве своих героинь, по-видимому, ничего не знают о мальчиках. Девушка, которую они описывают, будь то юная умница или завзятая юная дура, в любом случае являет мальчику решительную противоположность. Она в высшей степени открыта; слегка поверхностна; безудержно весела; ни капли не застенчива; в ней есть все то, что как раз в мальчике и не бывает. А вот Барбара действительно была похожа на мальчика, то есть была робка, немного фантазерка, склонна ввязываться в интеллектуальные дружбы и об этом жалеть; способна впасть в уныние и решительно не способна скрытничать. Она часто ощущала себя не такой, как надо, подобно многим мальчикам; чувствовала, как душа, слишком для нее большая, колотится о ребра и распирает грудь; подавляла в себе чувства и прикрывалась условностями. В результате ее вечно мучили сомнения. То это были религиозные сомнения; сейчас это были отчасти сомнения патриотические; хотя скажите ей такое, и ведь она бы стала рьяно это отрицать. Ее расстроили намеки на страдания Египта и преступность Англии; и лицо незнакомца, белое лицо с золотистой бородой и сверкающим моноклем, для нее теперь воплощало дух сомнения. Но вот лицо сестры вдруг стерло, отменило все политические муки, беспощадно ее вернуло к мукам более частным, тайным, ибо она в них никому, кроме себя самой, не сознавалась.

В семействе Трэйл была трагедия; или, скорее, наверно, то, что Барбара, склонная унывать, считала прологом к трагедии.

Младший брат ее был еще мальчик; точнее будет сказать, он был еще ребенок. Разум его так и не развился; и хотя мнения о причинах его отсталости разделялись, Барбара в темные свои минуты готова была к самым мрачным выводам, чем омрачала всю семью Толбойз. И потому она при виде странного лица сестры тотчас спросила:

– Что-то с Томом?

Оливия слегка вздрогнула, потом сказала, скорее, раздраженно:

– Нет, почему? Дядя его оставил с учителем, ему лучше... С чего ты взяла? Ничего с ним не случилось.

– Но тогда, – сказала Барбара, – боюсь, что-то случилось с тобой.

– Ну... – отвечала сестра. – В общем, – что-то случилось с нами со всеми, правда?

И она резко повернулась и зашагала к дому, роняя на ходу цветы, которые якобы собирала; а Барбара пошла следом, раздираемая тревогой.

Когда они приблизились к портику, она услышала высокий голос дяди Толбойза, который, откинувшись в плетеном кресле, беседовал с заместителем губернатора, мужем Оливии. Толбойз был длинный, тощий, с большим носом и выкаченными глазами; как многие мужчины такого типа, он обладал большим кадыком и произносил слова, как бы прополаскивая горло. Но то, что он произносил, стоило послушать, хоть он заглатывал концы фраз, загоняя их одну в другую, и притом жестикулировал, что многих раздражало.

Вдобавок, он был глух, как тетерев. Заместитель губернатора, сэр Гарри Смит, являл с ним забавный контраст. Плотный, со светлыми ясными глазами и румяным лицом, пересеченным параллельно двумя ровными полосками бровей и пышной полосой усов, он был бы очень похож на Китченера¹, если бы, вставая, коротким ростом несколько не подрубал сравнение. И все же это сходство несправедливо заставляло в нем предполагать дурной характер, тогда как он был нежный муж, добрый друг и верный поборник принятых в его кругу идеалов. Хвостик разговора намекал, что он отстаивает военную точку зрения, довольно распространенную, чтоб не сказать банальную.

– Одним словом, – говорил губернатор, – я полагаю, правительственная программа прекрасно соответствует сложной ситуации. Экстремисты обоюго толка станут ей противиться; но на то они и экстремисты.

– Именно, – отвечал сэр Гарри. – Противятся экстремисты всегда. Но вопрос в том, насколько противно они себя поведут.

Барбара, недавно и нервно настроившаяся на политический лад, вдруг обнаружила с неудовольствием, что выслушивает политические дебаты в присутствии многих лиц.

Был тут прелестно облаченный юный господин с волосами, как черный шелк, кажется, местный советник губернатора; звали его Артур Милз. Был тут старец в русом недвусмысленном парике над весьма двусмысленной, чтоб не сказать подозрительной, желтой физиономией; это был крупный финансист, известный под именем Моз. Были разнообразные дамы из официальных кругов, прилично вкрапленные меж джентльменов. Что-то такое заканчивалось, типа вечернего чаепития; отчего еще более подозрительным и страшным казалось поведение хозяйки, удалившейся собирать цветы в глубинах сада. Барбара очутилась рядом с милым старичком-священником с гладкими серебряными волосами и столь же гладким серебряным голосом, журчавшим о Библии и пирамидах. Она оказалась в ужасно щекотливом положении, когда вам надо прикидываться, будто вы участвуете в одной беседе, тогда как сами прислушиваетесь к другой.

Это еще затруднялось тем, что его преподобие Эрнст Сноу, означенный священник, обладал (при всей кротости своей) незаурядным упорством. У Барбары создалось смутное впечатление, что он придерживается весьма строгих взглядов о применении известного пророчества насчет конца света к судьбам Британской империи в частности. У него была манера внезапно задавать вопросы, ужасно неудобная для рассеянного слушателя. Но кое-как ей удавалось выхватывать обрывки разговора между двумя правителями провинций. Губернатор говорил, жестикуляцией раскачивая каждую фразу:

¹ Китченер, Горацио Герберт (1850–1916) – британский фельдмаршал (и обладатель пышных усов)

– Имеется два соображения, как отвечать на то и на другое. С одной стороны, невозможно совсем отказаться от наших обязательств. С другой стороны, нелепо предполагать, что недавнее ужасное преступление не отразится на характере этих обязательств. Мы по-прежнему должны считать, что наше заявление – есть заявление о разумной свободе. И потому мы решили...

Но в этот самый миг бедняге-священнику срочно понадобилось вонзить в ее сознание животрепещущий вопрос:

– Ну, и как вы думаете, сколько там метров?

Чуть погодя ей удалось услышать, как мистер Смит, говоривший куда меньше собеседника, коротко парировал:

– Что до меня, я не верю, что так уж важно, какие именно вы делаете заявления. Где нет достаточных сил, всегда будут беспорядки; и беспорядков нет там, где есть достаточные силы. Вот и все.

– И каково же сейчас наше положение? – спросил веско губернатор.

– Положение из рук вон, – пробурчал мистер Смит. – Люди абсолютно не подготовлены и стрелять-то толком не умеют. Но есть и другое. Не хватает боеприпасов и...

– Но что же в таком случае, – выпел мягкий, проникновенный голос мистера Сноу, – что же в таком случае происходит с шунамими?

Барбара не имела ни малейшего понятия о том, что с ними происходит; но сообразила, что этот вопрос следует рассматривать как риторический. Она заставила себя внимательно прислушаться к рассуждениям достопримечательного мистика; и из политической беседы ухватила всего один фрагмент.

– Неужто нам действительно понадобятся все эти военные приготовления? – не без тревоги спрашивал лорд Толбойз. – И когда, вы полагаете, они нам понадобятся?

– Могу вам сказать точно, – ответил Смит довольно мрачно. – Они нам понадобятся, едва вы опубликуете свое заявление о разумной свободе.

Лорд Толбойз дернулся в плетеном кресле, как бы раздраженно пресекая неприятную аудиенцию; затем, подняв палец, он подал знак своему секретарю мистеру Милзу, который скользнул к нему и после кратких переговоров скользнул в дом. Освободясь от груза государственных дел, Барбара вновь отдалась очарованию церкви и святых пророчеств. По-прежнему она очень туманно себе представляла, о чем толковал боговдохновенный старец, но уже улавливала в его речах некий налет поэзии. Во всяком случае, тут было много всякого, пленявшего ее воображение, как темные рисунки Блейка: доисторические города; застывшие, слепые провидцы и цари, одетые камнем, как и гробницы-пирамиды. Она уже догадывалась смутно, отчего в этой звездной, каменистой пустыне развелась такая бездна чудил, и даже слегка смягчилась к чудиле-клерикалу, и приняла приглашение к нему на послезавтра – посмотреть кое-какие документы, содержащие решительные доказательства относительно шунамитов. Что именно требовалось доказать, она, однако, не вполне схватила.

Он ее поблагодарил и сказал твердо:

– Если пророчество сбудется сейчас, это будет ужасное бедствие.

– Ну, – возразила она с, пожалуй, странным легкомыслием, – если бы пророчества не сбывались, было бы, наверное, еще ужасней.

Не успела она договорить фразу, за пальмами в саду раздался шорох, и бледное, ошарашенное лицо ее брата высунулось из-за листвы. Тут же она увидела за ним советника Милза и учителя. Значит, дядя послал за ним. Том Трэйл будто вываливался из собственного костюма, что часто бывает с недоразвитыми; милые печальные черты, роднившие его со всем семейством, были испорчены черными, прямыми неопрятными патлами и еще манерой скашивать глаза куда-то вниз. Учитель его был человек со скучной и серой внешностью и, разумеется, по фамилии Хьюм. Большой, широкоплечий, он сутулился, как чернорабочий, хоть был совсем не стар. На некрасивом и грубом лице застыло выражение усталости, что и не мудрено. Не такое уж милое развлечение заниматься с дефективным.

Лорд Толбойз провел с учителем краткую, очень милую беседу. Лорд Толбойз задал учителю несколько простых вопросов. Лорд Толбойз прочел небольшую лекцию о воспитании, опять-таки очень милую, но сопровождаемую вращательными движениями рук. С одной стороны (взмах) – способность к труду жизненно необходима и без нее невозможно преуспеть. С другой стороны

(взмах) – без разумной дозы отдыха и удовольствий пострадает самый труд. С одной стороны... но тут-то, видимо, осуществилось Пророчество, и весьма плачевное бедствие нарушило губернаторское вечернее чаепитие.

Мальчишка вдруг разразился громким карканьем и стал размахивать руками, как машет крыльями пингвин, и беспрестанно повторял: «С одной стороны – с другой стороны».

С одной стороны – с другой стороны».

– Том! – крикнула Оливия с нескрываемым ужасом, и над садом нависла зловещая тишина.

– Том, – сказал учитель тихим, размеренным голосом, который набатом прогремел в мертвой тишине сада, – у тебя с каждой стороны всего по одной руке, правда? И третьей руки нет?

– Третьей руки? – повторил мальчик и – после долгой паузы: – Как это?

– Ну, была бы у тебя, например, третья рука, как хобот у слона, – продолжал учитель тем же размеренным, бесцветным голосом. – Вот бы здорово иметь длинный-длинный нос, как у слона, вертеть им туда-сюда и брать со стола все, что захочешь, не выпуская ножа и вилки. А?

– Да вы спятили! – рявкнул Том со странным призывком восторга.

– Я не единственный на этом свете спятил, старина, – сказал мистер Хьюм.

Барбара, широко раскрыв глаза, слушала эту странную беседу, раздававшуюся в жуткой тишине и при весьма неловких обстоятельствах. Удивительней всего было то, что учитель нес свою ахию с абсолютно невозмутимым и непроницаемым лицом.

– Я еще тебе не рассказывал, – продолжал он тем же безразличным тоном, – про ловкого зубного врача, который ухитрялся сам себе вырывать зубы собственным носом? Нет? Ну, значит, завтра расскажу.

Он был по-прежнему скучен и серьезен. Но дело было сделано. Мальчишку отвлекли от бунта против дяди, как новой игрушкой отвлекают раскапризничавшееся дитя. Том смотрел теперь только на учителя, не сводя с него глаз. И, кажется, не он один. Потому что этот учитель, подумала Барбара, – прелюбопытный тип.

Больше в этот день политические дебаты не возобновлялись; зато на другой день произошли кое-какие политические события. На другое утро повсюду было расклеено оповещение о справедливом, разумном и даже великодушном компромиссе, который правительство Его Величества отныне предлагает для справедливого и окончательного решения социальных проблем Полибии и Восточного Египта. А на другой вечер, как смерч в пустыне, пронеслась весть, что виконт Толбойз, губернатор Полибии, убит подле своей резиденции, у самой последней оливы на углу стены.

3. Человек, который не умел ненавидеть

Удалясь от общества в саду, Том с учителем тотчас распрощались до завтра, потому что первый жил в резиденции, а второй квартировал в домишке выше на горе, среди высоких деревьев. Наставник с глазу на глаз сказал ученику то, что все с возмущением ждали услышать от него прилюдно; он побранил мальчишку за дурацкую шалость.

– Ну и пусть. Все равно я его терпеть не могу, – буркнул Том. – Прямо убил бы. Нос свой длинный высунул и рад.

– Ну куда же ему его еще девать? – сказал мягко мистер Хьюм. – Впрочем, когда-то произошла одна история с человеком, во что-то такое сунувшим свой нос.

– Да? – вскинулся Том со свойственной юности склонностью к буквализму.

– Или завтра произойдет, – ответил учитель, уже карабкаясь по крутому склону в свое прибежище.

Сторожку, выстроенную в основном из бамбука и досок, обегала галерейка, откуда отчетливо, как на географической карте, открывался обширный вид: серые и зеленые квадраты губернаторского дома и сада, тропа прямо под низкой садовой стеной, параллельная ряду дач, одинокая смоковница, в одной точке пересекающая линию олив, как разрушенная аркада, потом еще один пробел и потом угол стены, за которой раскинулись темные склоны пустыни, тронутые

зеленью там, где их успели покрыть дерном в порядке общественных работ или вследствие реформаторских усилий заместителя губернатора по части воинской реорганизации. Все это вместе висело, как огромное расцвеченное облако, в отблесках восточного заката; потом завернулось в лиловый сумрак, и над головой у него выступили звезды, и показались ближе, чем то, что было на земле.

Он еще постоял на галерейке, оглядывая меркнувший простор, и скучные черты его опечатала тревога. Потом он ушел в комнату, где они весь день трудились с учеником, вернее, трудился он, вколачивая в юную голову идею о необходимости трудиться. Комната была голая, и пустоту ее нарушало всего несколько случайных предметов. На немногих книжных полках красовались стихи Эдварда Лира в ярких обложках и неказистые потрепанные томики отборных французских и латинских поэтов. Трубки, вкривь и вкось рассованные по подставке, неопровержимо свидетельствовали о холостяцкой жизни владельца; удочки и старая двустволка сиротливо пылились в углу; ибо давно уже этот человек, далекий от спортивных доблестей, не предавался двум своим хобби, избранным им из-за того, что они требуют уединения. Но, пожалуй, самое странное впечатление производили письменный стол и пол, заваленные диаграммами, причем такими, что любой геометр ужасно бы удивился, потому что к фигурам были пририсованы глупейшие физиономии и ножки, какие пририсовывает школьник к квадратам и кругам на грифельной доске. Но вычерчены диаграммы были с большим тщанием; чертивший явно имел точный глаз, и все, что зависело от этого органа, беспрекословно ему подчинялось.

Джон Хьюм сел к столу и стал вычерчивать новую диаграмму. Потом он раскурил трубку и принялся оглядывать уже прежде вычерченные, не отрываясь, однако, от своего стола и своего занятия. Так текли часы среди бездонной тишины прибежища в горах, покуда дальние звуки музыки не поплыли снизу в знак того, что в резиденции начались танцы. Хьюм знал, что сегодня у губернатора танцуют, и не обратил на музыку внимания; Хьюм не был сентиментален, но кое-какие давние воспоминания нежно шевельнулись в нем. Толбойзы, даже и по тем временам, были чуть старомодны. Старомодность их заключалась в том, что они не прикидывались демократичнее, чем были. Они обращались с низшими, как с низшими, хотя и очень вежливо; они не лезли в либералы, втягивая в общество лизоблюдов. И потому учителю или секретарю и в голову не приходило, что танцы у губернатора как-то могут их касаться. Старомодны были и сами танцы с соответственным учетом эпохи. Новые танцы только еще начинали пробиваться; никто и мечтать не смел о нашей новомодной раскованности и свободе, позволяющей нам весь вечер бродить по зале с тем же партнером и под ту же музыку. И вот эта дистанцированность – в буквальном и переносном смысле – старых колышущихся вальсов закралась в подсознание Хьюма и отразилась на восприятии того, что вдруг предстало его глазам.

Вдруг на несколько секунд ему показалось, будто, поднявшись из тумана, мелодия, обретя очертания и цвет, ворвалась к нему в комнату; зеленые и синие разводы платья были как ноты, а ошеломленное лицо казалось криком; криком, зовом из далекой юности, которую он растерял или вовсе не знал. Прилетевшая из страны грез принцесса не поразила бы его больше, чем эта девочка из бальной залы, хоть он прекрасно знал ее – старшую сестру своего питомца; а бал был всего на несколько сотен метров ниже под горой. Лицо было – как бледное лицо, прожигающее сон, но не лишено выражения, как лицо спящего; потому что Барбара Трэйл удивительным образом не догадывалась о том, каким покровом красоты одета ее печальная, мальчишеская душа. Она была менее хорошенькая, чем сестра, и часто в тоске себя считала гадким утенком. На лице стоявшего перед нею человека не отразилось, однако, ничего из его впечатлений. Характерно для нее – она тут же выпалила с резкостью, мало отличавшейся от манеры братца:

– Боюсь, Том вам нагрубил. Мне ужасно неприятно. Как, по-вашему, он исправляется?

– Пожалуй, большинство сочло бы, – медленно выговорил он, – что это мне бы следовало извиняться за его обучение, а не вам за вашу родню. Мне жаль вашего дядюшку; но из двух зол приходится выбирать меньшее. Толбойз – достойнейший человек и сумеет защитить свое достоинство, я же должен отвечать за своего питомца. А с ним я умею ладить. Вы за него не тревожьтесь. Он очень сносно себя ведет, когда его понимают; надо только наверстать упущенное время.

Она слушала – или не слушала – с обычной своей задумчивой морщинкою на лбу; она села на предложенный им стул, очевидно, не замечая этого, и разглядывала дикие диаграммы, очевидно,

их не видя. Да, очень возможно, что она его совсем не слушала; потому что она вдруг брякнула нечто совсем не вяжущееся с его словами. Правда, такое с ней бывало; и в отрывочности ее речей было куда больше смысла, чем подозревали многие. Так или иначе, она вдруг сказала, не поднимая глаз от нелепой диаграммы:

– Я сегодня видела одного человека; он шел в резиденцию. Большой, с длинной светлой бородой и с моноклем. Вы не знаете, кто он? Жуткие вещи говорил про Англию.

Хьюм поднялся на ноги, держа руки в карманах, с таким видом, будто сейчас присвистнет. Посмотрел на Барбару и сказал тихо:

– Ага! Так он снова выплыл? Ну быть беде! Да, я его знаю – его называют доктор Грегори, но я думаю, он родом из Германии, хотя часто ходит за англичанина. О, это буревестник! Где он – там всегда беспорядки. Кое-кто считает, что нам самим не мешало бы его приручить; думаю, в свое время он предлагал свои таланты нашим властям. Он малый ловкий и знает про них много всякой всячины.

– И вы считаете, – отрезала она, – что я должна верить этому господину и всему, что он нес?

– Нет, – сказал Хьюм. – Я бы не стал ему верить; даже если вы и поверили всему, что он нес.

– Как это? – спросила она.

– Откровенно говоря, я считаю его законченным негодяем, – сказал учитель. – У него отвратительная репутация по части женщин; не стану входить в детали, но дважды он сидел в тюрьме за дачу ложных показаний. Я говорю только одно: во что бы вы ни поверили – не верьте ему.

– Он посмел сказать, что наше правительство нарушило свое слово, – сказала негодующая Барбара.

Джон Хьюм молчал. Почему-то это его молчание ей показалось тягостным; и она выпалила:

– Господи! Да скажите вы хоть что-нибудь! Он же посмел сказать, что во время экспедиции лорда Джеффри кто-то убил ребенка! Ладно, пусть называют англичан холодными, черствыми и вообще! Это распространенный предрассудок. Но неужели же нельзя пресечь такую наглую, бессовестную ложь!

– Да... – сказал Джон Хьюм устало. – Никто не назовет Джеффри холодным и черствым. Извиняет его только одно: он был в стельку пьян.

– Значит, я должна верить этому лжецу! – крикнула Барбара.

– Разумеется, он лжец, – сказал учитель мрачно, – но беда стране и прессе, когда только одни лжецы и говорят правду.

Его мрачная твердость вдруг пересилила ее обиду; и она сказала уже спокойно:

– И вы верите в это самоуправление?

– Я вообще не склонен верить, – ответил он. – Мне очень трудно верить, что люди не могут дышать и жить без выборов, если они прекрасно без них обходились пятьдесят веков, покуда вся страна принадлежала им. Наверное, парламент – вещь хорошая; человек в цилиндре – тоже хорошая вещь; такого мнения безусловно придерживается ваш дядюшка. Нам могут нравиться или не нравиться наши цилиндры. Но если дикий турок мне говорит о своем прирожденном праве на цилиндр, мне трудно удержаться от вопроса: «Так какого же черта вы его себе не закажете?»

– Вам, по-моему, и националисты не очень по душе, – сказала она.

– Их политики часто негодяи; но тут они не исключение. Потому-то я и вынужден занять промежуточную позицию; нечто вроде доброжелательного нейтралитета. Иначе выбирать пришлось бы между кучкой отпетых подлецов и сворой сопливых идиотов. Видите – я человек умеренный.

Впервые он легонько усмехнулся; и невзрачное лицо его сразу похорошело. Она сказала уже гораздо дружелюбней:

– Ну, хорошо, но мы должны предотвратить настоящий взрыв. Не хотите же вы, чтоб всех наших людей прикончили!

– Пусть только слегка прикончат, – сказал он, не переставая улыбаться. – Нет, ничего, пусть кое-кого даже и тут похлеще прикончат. Не слишком серьезно, разумеется; но тут все зависит от чувства меры.

– Вольно же вам нести околесицу, – сказала она. – В нашем положении не до шуток. Гарри говорит, мы должны им преподать урок.

– Знаю, – сказал он. – Он уж довольно тут преподавал уроков, покуда не появился лорд Толбойз. Чудесных, замечательных уроков. Но я знаю кое-что поважнее, чем умение преподавать урок.

– И что же это?

– Умение извлечь урок, – сказал Хьюм.

Вдруг она спросила:

– А почему бы вам самому что-нибудь не предпринять?

Он промолчал. Потом глубоко вздохнул:

– Да. Вот вы меня и вывели на чистую воду. Сам я ничего не могу предпринять. Я бесполезный человек. Я страдаю ужасным недостатком.

Она как будто вдруг перепугалась и посмотрела ему прямо в неотвечающие глаза.

– Я не умею ненавидеть, – сказал он. – Я не в состоянии разозлиться. – Глухая фраза упала, как обломок камня на могильную плиту; Барбара не стала спорить, а в подсознании ее уже прокладывалось разочарование. Она начала догадываться о всей мере странного доверия и чувствовала себя, как тот, кто рыл в пустыне колодец, и колодец оказался очень глубоким, но он был пустой.

Она вышла из дому; круто сбегавший вниз сад оказался серым в лунном свете; и какая-то серость легла на ее душу, какая-то безнадежность и скучный страх. Впервые она заметила кое-что неизбежно кажущееся западному глазу на Востоке неестественностью естества, ненатуральностью природы. Обрубленные скучные ростки опунций – что общего они имели с цветущими английскими ветвями, на которые словно присели легкие бабочки... Какой-то ил, какая-то трясина; нет, не растительность, а плоские, нудные камни. На некоторые волосатые, приземистые, вздутые деревца в этом саду просто не хотелось смотреть; дурацкие, непонятные пучки раздражали глаз, а могли ведь и в буквальном смысле оцарапать. Даже эти огромные, сомкнутые цветы, когда распустятся, наверно мерзко пахнут, Барбара не сомневалась. Какой-то тайный ужас обливал тут все вместе с серым лунным светом. Ужас этот окончательно ее пробрал, и тут-то, подняв глаза, она увидела кое-что, которое, не будучи ни цветком, ни деревом, тем не менее недвижно висело в тишине; и особенно ужасное потому, что было это человеческое лицо. Очень белое лицо, но с золотистой бородой, как греческие статуи из золота и слоновой кости; а на висках крутились два золотых завитка, как рожки Пана.

На секунду эта недвижная голова могла и впрямь сойти за голову реликтового садового божка. Но уже в следующую секунду божок обрел ноги и способность двигаться и прыгнул на тропку рядом с Барбарой. Она уже несколько отделилась от сторожки и приблизилась к освещенной резиденции, навстречу вскипавшей музыке. Но тут она обернулась в другую сторону, отчаянно уставясь на опознанную фигуру.

Он отказался и от красной фески, и от черного сюртука и весь был в белом, как многие туристы в тропиках; но в лунном серебре немного смахивал на призрачного арлекина.

Приближаясь, он вставил в глаз посверкивающий кружок, и тот тотчас оживил покуда ускользавшее от Барбары смутное воспоминание. Лицо его в состоянии покоя было тихо и торжественно, как каменная маска Юпитера, совсем не Пана.

А монокль этот разом исказил его усмешкой, сдвинул глаза к переносью, и Барбара вдруг поняла, что он такой же точно немец, как и англичанин. И хотя она не страдала антисемитизмом, ей показалось, что в светлицей белокурости еврея есть что-то нечестное, как, скажем, в белой коже негра.

– Вот мы и встретились под еще более дивными небесами, – сказал он.

Что он говорил дальше, она почти не слышала. В мозгу крутились недавно услышанные фразы, слова «отвратительная репутация», «тюрьма»; и она отпрянула, чтоб увеличить дистанцию, но двинулась при этом не туда, куда шла, а в противоположном направлении. Она почти не помнила, что случилось дальше; он еще что-то говорил; он пытался ее удержать, и так напугал ее обезьяньим каким-то напором, что она вскрикнула. И бросилась бежать; но вовсе не к дому своих родных.

Мистер Джон Хьюм вскочил со стула с неожиданной прытью и кинулся навстречу кому-то, кто снаружи карабкался по лестнице.

– Деточка, – сказал он, положив руку на ее вздрагивавшее плечо, и обоих как прожгло электрическим током.

И он двинулся с места и быстро прошел мимо нее, вперед.

Он что-то увидел в лунном свете, еще не спускаясь со ступеней, перепрыгнул через ограду вниз и оказался по пояс в диких запутанных зарослях. Колыхание листья заслонило от Барбары разыгравшуюся вслед за этим драму; но – как в лунной вспышке – учитель бросился через тропу к фигуре в белом, и Барбара услышала стук, Барбара увидела, как что-то взметнулось, закружилось серебряными спицами, как герб острова Мэн; и потом из плотной глубины зарослей внизу брызнул фонтан ругательств, не на английском, но и не на совсем немецком языке – на языке гомона и стонов всех гетто по всему миру. Одна странная вещь застряла все-таки в ее расстроенной памяти: когда фигура в белом, покачиваясь, поднялась и заковыляла вниз по склону, белое лицо и яростный жест проклятия были обращены не к противнику, а к губернаторскому дому.

Хьюм мучительно хмурился, вновь поднимаясь по ступенькам, будто решая свои геометрические задачи.

Она обрушила на него вопрос, что он сделал, и он отвечал своим мрачным голосом:

– Надеюсь, я его полубил. Вы знаете – я же сторонник полумер. Она истерически расхохоталась и крикнула:

– А сами говорили, что злиться не умеете!

Потом оба вдруг впали в неловкое молчание, и с дурацкой какой-то церемонностью он ее сопровождал вниз по склону к самым дверям бальной залы. Небо за аркадами листья ярко лиловело, впадая в синеву, что жарче полыхания алости; волосатые стволы казались странными морскими чудовищами детства, которых можно гладить, и они тогда топорщат лапы. Что-то нашло на них обоих такое, что не передать словами – да и молчанием тоже. И он не придумал ничего лучшего, как заметить: «Чудесная ночь».

– Да, – ответила она. – Чудесная ночь.

И тут же почувствовала себя так, будто выдала секрет.

Садом они прошли к дверям вестибюля, где толкся в вечерних платьях и мундирах разодетый люд. С предельной церемонностью они простились; ни он, ни она в ту ночь не сомкнули глаз.

4. Сыщик и пастор

Как мы уже говорили, только на следующий вечер распространилась весть, что губернатор пал от пули, пущенной неведомой рукой. И Барбара Трэйл узнала весть позже большинства своих знакомых, потому что утром пустилась в долгую прогулку среди руин и пальм в ближнем соседстве. Она несла с собой корзиночку, и как ни была она на вид легка, можно было сказать, что Барбара шла избавляться от значительного груза. Она шла избавляться от груза, накопившегося в памяти, особенно в памяти о прошедшей ночи. Гасить свою порывистость уединенными прогулками было у нее в привычке; но на сей раз поход принес немедленную и непредвиденную пользу. Потому что первая весть была самая страшная; а когда Барбара вернулась, страшное смягчилось. Сперва доложили, что дядя ее убит; потом, что он смертельно ранен; и, наконец, что рана его не опасна для жизни. Барбара со своей пустой корзинкой врезалась в самую гущу взволнованного разговора об этом происшествии, и скоро поняла, что полицией уже приняты меры по задержанию преступника. Допрос вел крепкий, скуластый офицер по фамилии Хейтер, начальник сыскной службы; ему рьяно помогал секретарь губернатора юный Милз. Но гораздо больше удивилась Барбара, обнаружив в самом центре группы своего друга Хьюма, которого допрашивали о вчерашнем.

В следующую же секунду она с необъяснимым отвращением поняла, о чем ведется допрос. Допрашивали Милз и Хейтер; но они только что узнали, что сэр Гарри Смит с присущей ему энергией арестовал доктора Паулюса Грегори, подозрительного бородатого иностранца, – вот что

было важно. Учителя допрашивали о том, когда он видел его в последний раз; и Барбара в душе боялась, обнаружив, что события прошедшей ночи сделались предметом полицейского дознания. Как если бы, выйдя к завтраку, она вдруг поняла, что за столом все дружно обсуждают тайный, нежный, приснившийся ей ночью сон. И хотя она протаскала свои ночные картинку среди могил и по зеленой мураве, они оставались интимными, принадлежали только ей, как если бы, скажем, ей явилось видение в пустыне. Вкрадчивый, черноволосый мистер Милз был ей особенно противен своей настырностью. Она, довольно, впрочем, опрометчиво, решила тотчас, что всегда ненавидела мистера Милза.

– Я заключаю, – говорил секретарь, – что у вас есть собственные, весьма веские основания считать этого господина опасным субъектом.

– Я его считаю подлецом, и всегда считал, – ответил Хьюм хмуро и нехотя. – Мы с ним слегка схватились минувшей ночью, но это ничуть не сказалось на моей точке зрения, да и на его точке зрения, полагаю, тоже.

– А мне кажется, это очень могло сказаться, – наседал Милз, – ведь, уходя, он проклинал не только вас, но и – особенно – губернатора, не так ли? И он спустился по склону как раз к тому месту, где подстрелили мистера Толбойза. Правда, стреляли много позже, и никто не видел стрелявшего; но, возможно, преступник бродил по лесу, а потом прокрался в темноте вдоль стены.

– А ружье сорвал с ружейного дерева, какие во множестве произрастают в здешних лесах, – усмехнулся учитель едко. – Я могу поклясться, что при нем не было ни ружья, ни пистолета, когда я его сунул в опунцию.

– Вы, кажется, произносите речь в его защиту, – заметил с легкой усмешкой секретарь. – Но сами же вы сказали, что он весьма сомнительный субъект.

– Я ничуть не считаю его сомнительным, – отвечал учитель в обычной своей решительной манере. – У меня относительно него нет ни малейших сомнений. Я считаю, что он распушенный, порочный хвостун и жулик; самовлюбленный, похотливый шарлатан. И я совершенно убежден, что губернатора мог убить кто угодно, только не он.

Полковник Хейтер метнул острый взор в говорящего и впервые сам разомкнул уста:

– Э-э... что же вы хотите этим сказать?

– Именно то, что говорю, – ответил Хьюм. – Будучи подлецом такого сорта, такого сорта подлости он не совершит. Агитаторы вроде него никогда ничего не делают своими руками; они подстрекают других; они собирают толпу, пускают шапку по кругу и потом смываются, чтобы приступить к тому же в другом месте. Идут на риск, разыгрывают Брутов и Шарлотт Корде совсем другие люди. Но я заявляю, что есть еще два обстоятельства, полностью снимающие обвинения с этого субъекта.

Он сунул два пальца в карман жилета и медленно, задумчиво даже, вытащил круглую стекляшку, болтающуюся на порванном шнурке.

– Я это подобрал на месте, где мы дрались, – сказал он. – Это монокль Грегори; и если вы сквозь него глянете, вы не разглядите ровно ничего, кроме того факта, что человек, нуждающийся в столь сильных линзах, без них ничего не увидит. Он никак не мог видеть цель на углу стены, метаясь от смоковницы, откуда приблизительно, как полагают, был произведен выстрел.

– В этом, кажется, что-то есть, – сказал Хейтер. – Хотя у него, конечно, могло быть и запасное стекло. Но у вас есть еще второе основание считать его невиновным, так вы сказали?

– Есть и второе основание, – сказал Хьюм. – Сэр Гарри Смит его только что арестовал.

– Господи, да о чем вы? – вскрикнул мистер Милз. – Не вы ли сами принесли нам это известие от сэра Гарри?

– Боюсь, я был не вполне точен, – сказал учитель скучным голосом. – Совершенно верно: сэр Гарри арестовал доктора, но он арестовал его до того, как услышал о покушении на лорда Толбойза. Он арестовал доктора Грегори за подстрекательскую сходку в пяти минутах езды от Пентаполиса, на которой тот выступал с пламенной речью и подходил, вероятно, к красноречивому резюме, как раз когда лорд Толбойз был подстрелен здесь, на повороте дороги.

– Боже правый, – выпучив глаза, крикнул Милз, – да вы, похоже, про это дело много чего знаете!

Учитель угрюмо поднял голову и посмотрел на секретаря пристальным, но очень странным взглядом.

– Кое-что, возможно, я и знаю, – сказал он. – Во всяком случае, я уверен, что у Грегори безупречное алиби.

Барбара прислушивалась к странному разговору, мучительно, с трудом сосредоточилась; но по мере того, как обвинение против Грегори рушилось, новое, странное чувство в ней самой пробивалось из глубин на поверхность. Она сообразила, что хотела осуждения Грегори не оттого, что питала к нему особенную злобу, но оно могло все сразу объяснить; и ее избавить от другой, неприятной, едва брезжащей мысли. Преступник вновь стал смутной, безымянной тенью, а в душе ее опять зашевелилось страшное подозрение, и, пронизав ее страхом и отчаянием, тень вдруг обрела отчетливые черты.

Как уже было замечено, Барбара Трэйл драматизировала трагедию семейства Трэйл и положение своего брата.

Страстная книголюб, она была из тех девочек, которых вечно видишь с книжкой в уголке дивана. А при нынешней постановке дела это неизбежно вело к тому, что она заглатывала все, недоступное ее пониманию, прежде чем прочесть хоть что-нибудь ему доступное. В ее мозгу перемешались обрывки знаний о наследственности и психоанализе; как тут было уберечься от горестного пессимизма по любому поводу? А дальше уж человек легко найдет обоснование для самых нелепых страхов. И Барбаре вполне хватило того, что в самое утро покушения дядя прилюдно подвергся оскорблению и даже нелепым угрозам со стороны ее брата.

Психологический яд такого свойства все глубже и глубже въедается в мозг.

Подозрения Барбары разрастались и густели, как темный лес; она не остановилась на той мысли, что недоразвитый школьник на самом деле маньяк и убийца. Вычитанное из книжек вело ее все дальше. Если брат – почему не сестра? Если сестра – почему не она сама? Память преувеличивала, искажала странное поведение сестры в саду, пока наконец чуть ли не преподнесла Оливию, рвущую цветы зубами. Как всегда при таком смятении духа, все приобретало роковую важность.

Сестра сказала: «Что-то случилось с нами со всеми, правда?» Что еще могло это значить, кроме семейного проклятья? Вот и Хьюм сказал, что он «не единственный на свете спятил». Ну и что это значило? Да и доктор Грегори после беседы с нею объявил ее расу вырожденческой. Что он хотел сказать? Что у них вырожденческая семья? А ведь он как-никак доктор, пускай негодный, но все же. Совпадения так били в одну точку, что она чуть не закричала от ужаса. Но каким-то краешком мозга она понимала, конечно, порочность подобной логики. Она говорила себе, что склонна все усугублять и видеть в мрачном свете; потом стала говорить, что если так, значит, она спятила. Но нет же, ничуть она не спятила; просто она молодая, а тысячи молодых людей проходят эту стадию кошмара, и никто им и не думает помогать.

И вдруг ей мучительно захотелось помощи; тот же порыв недавно гнал ее обратно, лунным лугом, к деревянной сторожке на горе. Она поднималась снова на эту гору, когда Джок Хьюм спустился ей навстречу.

Она потоком вылила на него все свои семейные тревоги, как вылила патриотические сомнения, со странной уверенностью, неизвестно на чем основанной и однако же твердой.

– Ну и вот, – заключила она свой бурный монолог. – Я сперва не сомневалась, что это все сделал бедняжка Том. А сейчас мне уже кажется, что я сама могла это сделать.

– Что ж, вполне логично, – согласился Хьюм. – Так же разумно утверждать, что виноваты вы, как и то, что виноват Том. И приблизительно столь же разумно утверждать, что в той же мере виноват архиепископ Кентерберийский.

Она попыталась развить свои высоконаучные догадки по поводу наследственности; их успех, пожалуй, был ощутимей. По крайней мере, большой угрюмый человек, выслушав их, заметно оживился.

– Черт побери всех докторов и ученых! – крикнул он. – Вернее, черт побери всех романисток и газетчиков, рассуждающих о том, чего сами доктора – и те не понимают! Старых няnek обвиняют, что они пугают детей букой, а ведь очень скоро это у них превращается в шутку. Ну а как насчет новых няnek, которые призывают детей самих себя пугать черным букой, и притом вполне серьезно? Милая девочка, ничего нет страшного с вашим братом, как, впрочем, и с вами. У него

просто, что называется, защитная неврастения; этим так хитро выражается нехитрая мысль, что у него слишком толстая кожа, – и лак частной школы к ней не пристает, а стекает, как с гуся вода. Так-то для него даже лучше. Ну вот и представьте себе, что он несколько дольше нас грешных будет оставаться ребенком. Что же в ребенке такого ужасного? Разве вы ужасаетесь при мысли о брате только из-за того, что он счастлив, прыгает, любит вас и не может доказать теорему Пифагора? Быть песиком – совсем не болезнь. Быть ребенком – не болезнь. Даже оставаться ребенком – тоже не болезнь; разве не мечтается вам иногда, чтоб мы все оставались детьми?

Она была из тех, кто схватывает понятия не скопом, а как бы по мере поступления; и она стояла молча; но мозг ее работал, как мельница. Нарушил молчание Хьюм, но теперь он заговорил веселее.

– Это вроде наших разговоров о том, стоит ли кому-то преподавать урок. По-моему, мир чересчур строг и торжествен по части наказаний; уж лучше бы в нем царили простые нравы детской. Людям не нужно принудительных работ, казней и тому подобного. Большинству людей хочется, чтоб им надрали уши и отправили спать. Вот бы забавно взять зарвавшегося миллионера и поставить в угол! Самое милое дело.

Когда она снова открыла рот, в голосе ее было облегчение и опять звенело любопытство.

– А чем вы занимаетесь с Томом? – спросила она. – И что это за такие странные треугольники?

– Я строю из себя шута, – сказал он серьезно. – Ему надо одно: чтобы привлекли его внимание; а лучшее средство привлечь внимание ребенка – дурачиться. Вы не знаете, как им весело воображать чудака, садящегося в лужу или калошу, оказывающегося в чьей-то чужой, а не в своей тарелке. Так служат воспитанию метафоры, прибаутки и еще загадки. Я и стараюсь быть загадкой. Я хочу, чтобы он все время гадал, что у меня на уме, что я собираюсь выкинуть. Разумеется, я выгляжу совершеннейшим ослом. Но другого выхода нет.

– Да-а... – протянула она. – В загадке есть что-то такое волнующее... во всякой загадке. Например, этот старый пастор загадывает вам свои загадки из Откровения, и ведь вы чувствуете, что ему интересно жить... Ой, мы же, кстати, обещали, по-моему, прийти к нему в гости; я была в таком настроении, я просто все перезабыла...

И в этот самый миг на тропе показалась сестра ее Оливия в снаряжении, неопровержимо свидетельствующем о выходе в гости, и сопровождаемая супругом – заместителем губернатора, не часто себя утруждающим подобными обязанностями. Они шли вместе, и Барбара слегка удивилась, обнаружив впереди них на той же тропе не только гибко-лакированную фигуру мистера Милза, секретаря, но и более угловатые очертания полковника Хейтера. Очевидно, приглашение священника распространялось и на них.

Его преподобие Эрнст Сноу жил очень скромно, в домике, стоявшем в одном ряду с жилищами мелких служащих резиденции. По задам этого ряда и бежала тропа вдоль садовой стены, мимо смоковницы, мимо чахлах олив и дальше, к тому углу, где губернатор упал, подбитый таинственной пулей. Отграничивая открытые просторы пустыни, тропа эта имела все свойства кремнистого пути пилигримов.

Зато, проходя мимо фасадов, путник легко мог вообразить, что оказался в каком-то лондонском пригороде, такие тут были витые ограды, такие английские клумбы и портики.

Дом священнослужителя ничем, кроме номера, не отличался от прочих; а вход был столь узок, что гости из резиденции с трудом в него протиснулись.

Мистер Сноу склонился над ручкой Оливии с церемонностью, из-за которой его седины показались вдруг пудрой восемнадцатого столетия, но было в его манере и позе что-то еще, сперва не поддавшееся определению. Что-то в сдержанном голосе и вздетых руках отдавало призыванием, исполнением служебных обязанностей. Лицо было спокойно, но спокойствие казалось почти напускным; и невзирая на горестный тон, взгляд был на редкость тверд и светел. Барбаре вдруг показалось, что он совершает похоронный обряд; и она почти не ошиблась.

– Не стану говорить, леди Смит, – сказал он тем же мягким голосом, – как я сочувствую вам в этот горестный час. Даже и с точки зрения общественной, смерть вашего дядюшки...

Тут Оливия Смит перебила его, глядя ему в лицо ошалелым взглядом:

– Но дядя не умер, мистер Сноу. Я знаю, сперва так говорили... Но он только ранен в ногу и уже пытается ковылять.

Лицо священника преобразилось столь мгновенно, что большинство присутствующих не уследило за трансформацией; Барбаре показалось, что у него отвисла челюсть и, водворенная на место, тотчас приладилась к улыбке вполне неискренних поздравлений.

– Дражайшая, – выдохнул он, – как я рад...

Он растерянно оглядывал мебель. Помнил ли его преподобие о необходимости приготовления чая к должному часу, было покуда неясно; но приготовления, им произведенные, имели, пожалуй, не столь сладко-утоляющую цель. Маленькие столики были завалены огромными книгами, большей частью распаханутыми; и открытые страницы исчерчены планами и рисунками, по-видимому, имеющими отношение к архитектуре, археологии, астрономии или астрологии, и все это вместе весьма смахивало на библиотеку черной магии.

– Апокалипсис, – выдавил он наконец, – это мое хобби. Я думаю, мои расчеты... Это записано нам в назидание...

И тут уж Барбара испугалась не на шутку. Она отчетливо поняла сразу две вещи. Первое – что его преподобие Эрнст Сноу думал о смерти губернатора с чувством, очень похожим на глубокое удовлетворение, а о выздоровлении его узнал отнюдь не с восторгом. И второе – что тем же самым голосом были уже однажды произнесены под сенью смоковницы те же слова, и тогда они отдались в ее ушах диким призывом к кровопролитию.

5. Теория умеренного убийства

Полковник Хейтер, начальник сыскной службы, решительно двинулся в сторону внутренних комнат. А Барбара-то еще удивлялась, зачем это официальному лицу понадобилось им сопутствовать при нанесении чисто светского визита! Сейчас у нее в голове забрезжила смутная, невероятная возможность. Священник отвернулся к одной из книжных полок и принялся с горячечным возбуждением листать какой-то том; он даже, кажется, что-то про себя бормотал.

Так ищут цитату, о которой вышел спор с приятелем.

– Я слышал, у вас тут очень милый садик, мистер Сноу, – сказал Хейтер. – Я бы с удовольствием глянул.

Сноу ошарашенно посмотрел на него через плечо, будто не в силах переключиться, оторваться от своего занятия; потом сказал резко, хоть и не вполне твердым голосом:

– Не на что там смотреть. Решительно не на что. Я вот как раз думал...

– Не возражаете, я все же гляну? – безразличным тоном спросил Хейтер и двинулся к черному ходу. Что-то было в его повадке такое решительное, что остальные двинулись следом за ним, сами не понимая, зачем. Хьюм, идя за сыщиком, проговорил вполголоса:

– И что же, вы думаете, растет у старца в саду?

Хейтер на него оглянулся с мрачной веселостью:

– Да вот то самое дерево, про которое вы толковали недавно.

Однако, выйдя на узкую, аккуратную полоску сада, они увидели одно-единственное дерево: смоковницу, распростершую ветви над пустынной тропой; и, тайно содрогнувшись, Барбара вспомнила, что это то самое место, с которого, по расчетам экспертов, был произведен выстрел.

Хейтер пересек лужайку, остановился подле тропических зарослей у стены и там над чем-то склонился. Когда он выпрямился, в руке его был длинный тяжелый предмет.

– Вот кое-что и свалилось с ружейного дерева, каковыми, вы правильно заметили, изобилует данная местность, – сказал он мрачно. – Забавно, что ружье обнаружилось на задворках у мистера Сноу, а? Особенно учитывая, что это двустволка и один ствол разряжен.

Хьюм вглядывался в большое ружье у сыщика в руках; и на обычно бесстрастном лице его проступало изумление и даже ужас.

– Вот те на! – сказал он тихо. – Я про него и забыл. Идиот несчастный!

Кажется, никто, кроме Барбары, не услышал этого странного шепота; и никто ничего не понял. Вдруг Хьюм резко повернулся и обратился ко всей компании, как на уличной сходке.

– Послушайте, – сказал он. – Вы знаете, чем это пахнет? Это пахнет тем, что бедного старого Сноу, и сейчас еще, возможно, колдующего над своими иероглифами, того гляди обвинят в покушении на губернатора.

– Ну, вы забегаєте вперед, – сказал Хейтер, – кое-кто даже назвал бы это, пожалуй, вмешательством в нашу работу, мистер Хьюм. Спасибо, однако, что вы нас поправили относительно другого лица, когда мы, честно признаюсь, допустили ошибку.

– Вы ошибались относительно того лица, а сейчас ошибаетесь относительно этого! – сказал Хьюм, ужасно насупясь. – Но в том случае я мог вам привести доказательства. Какие же доказательства невинности мне привести сейчас?

– Почему это вы обязаны приводить какие-то доказательства? – спросил изумленный Хейтер.

– Ну как же, обязан, и все, – сказал Хьюм. – Но мне ужасно не хочется их приводить. – Он помолчал минуту, и вдруг его прорвало: – Господи! Да неужели вы сами не понимаете, как глупо сюда притягивать этого старого глупца? Неужели вы не видите, что он просто помешался на собственных предсказаниях бедствия и слегка растерялся, когда оказалось, что они не сбылись?

– Есть еще кое-какие подозрительные обстоятельства, – резко вклинулся Смит. – Ружье, обнаруженное в саду, и расположение смоковницы.

Воцарилась долгая пауза, в продолжение которой Хьюм стоял, ссутулив широченные плечи и горестно уставясь на собственные ботинки. Потом он вдруг вскинул голову и заговорил с неудержимой веселостью:

– Ну ладно, я приведу свои доказательства, – сказал он с чуть ли не счастливой улыбкой. – Это я стрелял в губернатора.

Тишина наступила такая, будто в саду стоят одни статуи; несколько секунд никто не говорил и не двигался. А потом Барбара услышала собственный крик:

– Нет! Неправда!

В следующую секунду начальник полиции заговорил уже другим, более официальным тоном:

– Хотелось бы знать, изволите ли вы шутить или сами признаетесь в покушении на жизнь лорда Толбойза.

Хьюм вытянул руку в предостерегающем жесте, почти как оратор, унимающий расхордившуюся аудиторию. Он все еще смутно улыбался, но стал заметно серьезней.

– Простите, – сказал он. – Простите. Давайте обозначим разницу. Это чрезвычайно важно для моего самолюбия. Я не покушался на жизнь губернатора. Я покушался на его ногу, и я в нее попал.

– Что еще за абракадабра! – рявкнул Смит.

– Простите мне мой педантизм, – спокойно отвечал Хьюм. – Когда бросают тень на мою нравственность – это я могу вынести, как и другие представители преступного класса. Но когда подвергают сомнению мою меткость в стрельбе – этого я вытерпеть уже не могу. Это единственный вид спорта, в котором я кое-чего стою.

Никто и опомниться не успел, как он поднял с земли двустволку и торопливо продолжал:

– Вы позволите обратить ваше внимание на одну техническую подробность? Это двустволка, и один ствол ее до сих пор не разряжен. Если какой-то дурак, стреляя в Толбойза с такого расстояния, его не убил, неужели вы думаете, что даже дурак не выстрелил бы еще раз, если уж намеревался убить его? А дело попросту в том, что у меня не было такого намерения.

– Вы, кажется, себя считаете исключительно метким стрелком, – сказал довольно грубо заместитель губернатора.

– А вы, как я погляжу, скептик, – в том же наглом тоне отвечал учитель. – Что ж, сэр Гарри, вы сами снабдили нас необходимым пособием, так что доказательство не займет и минуты. Мишени, которыми мы обязаны вашей патриотической деятельности, уже воздвигнуты, полагаю, на склоне сразу за краем стены.

Никто и с места не успел двинуться, а он вспрыгнул на садовую стену у самой смоковницы – и со своего насеста увидел длинный ряд мишеней, расставленных по краю пустыни.

– Итак, – сказал он тоном терпеливого лектора, – я, предположим, всажу эту пулю в окошко второй мишени.

Все наконец-то очнулись от столбняка; Хейтер бросился к Хьюму, Смит рявкнул: «Что за идиотские игры...»

Конец фразы потонул в оглушительном звуке выстрела, и под еще не утихшее эхо учитель как ни в чем не бывало соскочил со стены.

– Если кому-то хочется пойти поглядеть, – сказал он, – я думаю, мы убедимся в моей невиновности. То есть не в том, что я не стрелял в губернатора, а в том, что попал туда именно, куда целил.

Опять наступило молчание; и комедия неожиданностей увенчалась одной, еще более невообразимой, и по вине человека, о котором все как-то забыли.

Вдруг раздался вопль Тома:

– Кто пойдет смотреть? Ну, чего же вы не идете?

Впечатление было такое, будто ни с того ни с сего заговорило дерево в саду. В самом деле, под воздействием возбуждения этот прозябающий, растительно произрастающий мозг вдруг раскрылся, как могут открываться иные растения под воздействием химических факторов. И это еще не все. В следующую секунду это растение с энергией неодушевленного существа ринулось по саду. Только пятки засверкали, и вот уже Том Трэйл перемахнул через садовую стену и бросился по песку к мишеням.

– Что за сумасшедший дом! – крикнул сэр Гарри Смит. Он все больше наливался краской, по мере того как скрытая злоба проступала наружу, и глаза его метали мрачные молнии.

– Послушайте, мистер Хьюм, – сказал Хейтер более сдержанным тоном. – Все вас считают человеком разумным. Уж не собираетесь ли вы меня всерьез убеждать, что вы всадили пулю в ногу губернатора так просто, за здорово живешь, и не пытаетесь его убить?

– Я это сделал по одной особенной причине, – ответил учитель, продолжая его озарять своей непостижимой улыбкой. – Я это сделал потому, что я человек разумный. Я, собственно, умеренный убийца.

– Что еще за черт! Объясните более внятно!

– Философия умеренности в убийстве, – преспокойно продолжал учитель, – всегда привлекала мое внимание. Я как раз недавно говорил, что люди часто хотели бы, чтобы их немножечко убили; особенно люди в ответственной политической ситуации. Иначе обеим сторонам не поздоровится. Малейшая тень подозрения убийства – вот и все, что требуется для проведения реформ. Чуть побольше – и это уже чересчур; чуть поменьше – и губернатор Полибии выходит из воды сухим.

– Вы думаете, я вам так и поверю, – возмущенно фыркнул начальник полиции, – что вы насобачились пулять в левую ногу всех общественных деятелей?

– Нет, нет, – сказал Хьюм с неожиданной серьезностью. – Уверю вас, тут к каждому нужен индивидуальный подход. Если бы речь шла, скажем, о министре финансов, я бы, возможно, выбрал левое ухо. Если о премьер-министре – возможно, предпочел бы кончик носа. Но в любом случае что-то должно случиться с этими людьми, чтобы с помощью небольшой личной неприятности разбудить их дремлющие умственные способности. И если когда-нибудь был человек, – продолжал он, слегка повышая голос, как бы для научного объяснения, – если когда-нибудь был человек, самой природой назначенный для того, чтобы его слегка убили, – это лорд Толбойз. Других выдающихся людей – и очень даже часто – именно убивают, и все считают, что так и надо, что инцидент исчерпан. Убили – и дело с концом. Но лорд Толбойз – особый случай; я у него работаю и отлично его изучил. Он в самом деле славный малый. Он джентльмен, он патриот; более того – он настоящий либерал и человек разумный. Но, вечно находясь на службе, он все больше и больше усваивал помпезный стиль и сросся с ним в конце концов, как со своим пресловутым цилиндром. Что требуется в подобных случаях? Несколько дней постельного режима – так я решил. Несколько целительных недель постоять на одной ноге и порассуждать о тонком различии между самим собой и Всемогущим Господом, которое так легко ускользает от нашего понимания.

– Да не слушайте вы этот бред! – крикнул заместитель губернатора. – Он сам говорит, что стрелял в губернатора, – ну и мы должны задержать его!

– Наконец-то вы поняли, сэр Генри, – сказал Хьюм с удовлетворением. – Я сегодня только и делаю, что пробуждаю дремлющие умственные способности.

– Мы устали от ваших шуток, – вдруг взорвался Смит. – Я вас задерживаю за покушение на жизнь губернатора.

– Вот именно, – отвечал учитель с улыбкой. – Это, конечно, шутка.

В эту секунду снова громко зашуршала смоковница, Том кубарем скатился в сад и, задыхаясь, крикнул:

– Все правильно. Куда он целил, туда и попал.

И далее, покауда вся странная группа не разбрелась по саду, мальчишка неотрывно смотрел на Хьюма такими глазами, какими только мальчишка может смотреть на кого-то, дивно отличившегося в игре. Но когда они с сестрою вместе возвращались в резиденцию, потрясенная и озадаченная Барбара заметила, что спутник ее придерживается какого-то особенного мнения, которое не умеет должным образом выразить. Нет, не то чтобы он не верил Хьюму или его версии, но он, кажется, верил во что-то, чего Хьюм не договаривал, больше, чем тому, что тот сказал.

– Это загадка, – упрямо твердил Том. – Он обожает загадки. Говорит разные глупости, чтоб тебя заставить думать. Вот вам это и надо. Он не любит, когда отлыниваешь.

– Что, что нам надо? – воскликнула Барбара.

– Думать, что это все на самом деле значит, – сказал Том.

Возможно, в предположении, что мистер Джон Хьюм обожает загадки, была доля истины; ибо он выпалил еще одной в начальника полиции, уже когда это должностное лицо взяло его под стражу.

– Ладно, – сказал он весело. – Можете меня полуповесить за то, что я полубийца. Вам ведь, полагаю, случалось вешать людей?

– Случалось, что уж греха таить!.. – отвечал полковник Хейтер.

– А вы когда-нибудь кого-нибудь вешали, чтобы избавить его от повешения? – с неподдельным интересом спросил учитель.

6. Как было всё на самом деле

Нет, неправда, будто лорд Толбойз не снимал цилиндра, лежа в постели в продолжение своего недомогания. Неправда и то, как намекали люди более сдержанные, будто он, едва мог встать, послал за ним, дабы достойно венчать свой наряд, состоявший из зеленого халата и красных тапочек. Но совершеннейшая правда, что он вернулся к своему головному убору и к своим обязанностям при первой же возможности, к большой досаде, говорили, заместителя губернатора, которому уже вторично мешали провести строгие военные меры, всегда легко проводимые под шумок политического скандала. Одним словом, заместитель губернатора пребывал в прескверном расположении духа. Весь красный, он впал в злобное молчание; когда же он прерывал его, близкие мечтали, чтобы он поскорее снова в него впал. При упоминании об эксцентричном учителе, которого его департамент взял под стражу, он раздражался особенно бурным гневом.

– Ах, ради Бога, только вы мне не говорите про этого сумасшедшего шарлатана! – орал он таким голосом, как если бы его пытали и он ни секунды более не мог выносить человеческого безумия. – И за какие грехи нам посылают таких кретинов... стреляет в ногу, умеренный убийца – свинья паршивая!

– Никакая он не паршивая свинья, – сказала Барбара Трэйл, как бы запальчиво отстаивая истины зоологии. – Я не верю ни одному слову из того, что вы на него наговариваете.

– А тому, что он сам на себя наговаривает, ты веришь? – спросил лорд Толбойз, насмешливо и пристально ее разглядывая.

Лорд Толбойз опирался на костыль; в отличие от мрачного Смита, вынужденное бездействие даже придало ему приятности. Необходимость следить за нарушенным ритмом ног приостанавливала ораторское вращение дланей. Никогда еще семья не чувствовала к нему такого нежного расположения. Похоже, что умеренный убийца не вовсе ошибся в своих расчетах.

С другой стороны, сэр Гарри Смит, в семейном кругу обычно столь добродушный, все больше поддавался скверному настроению. Лицо его все больше наливалось багровостью, на фоне которой как-то грозно выделялись побледневшие глаза.

– А я тебе говорю, что все эти гадкие суетливые ничтожества... – начал он.

– А я вам говорю, что ничего вы не знаете, – перебила свояченица. – Вообще он не такой. Он...

И тут, уж неизвестно по какой причине, ее быстро, тихонько прервала сестра; вид у Оливии был усталый и озабоченный.

– Давайте об этом сейчас не будем, – проговорила она. – Гарри сейчас столько должен сделать...

– А я знаю, что я сейчас сделаю, – не сдавалась Барбара. – Я прошу у лорда Толбойза как здешнего губернатора, не разрешит ли он мне посетить мистера Хьюма и поглядеть, не разберусь ли я, что к чему.

Она отчего-то ужасно разволновалась и сама с удивлением слушала свой срывающийся голос. В каком-то тумане она видела, как Гарри Смит вытаращил глаза в апоплексической ярости, а лицо Оливии на заднем плане все больше и больше бледнело; и за всем этим с почти эльфической насмешливостью наблюдал ее дядюшка.

Она почувствовала, что, кажется, слишком себя выдала, а может быть, наоборот, это он обрел сверхъестественную проницательность.

Меж тем Джон Хьюм сидел под стражей, глядя на пустую стену столь же пустым взглядом. Как ни привык он к одиночеству, но два-три дня в обесчеловеченном одиночестве тюрьмы ему показались тягостными. Возможно, на настроении его сказывалось просто-напросто отсутствие курева. Но были у него и другие и, кое-кто согласится, более веские поводы для уныния. Он не знал, какая кара ему положена за признание в том, что он намеренно ранил губернатора.

Но, достаточно зная политическую обстановку и крюкотворство законодателей, он не сомневался в том, что сразу после политического скандала потребовать для него самой тяжелой кары ничего не стоит. Он прожил на этих задворках цивилизации десять лет до того, как лорд Толбойз его подобрал в Каире; он помнил, что творилось после убийства предыдущего губернатора, в какого деспота превратился заместитель губернатора, какие организовывал карательные экспедиции, пока его порывистую воинственность не обуздал Толбойз, привезя от центрального правительства предложение компромисса. Толбойз, однако, жив и как-никак, пусть и несколько видоизменен, все еще прыгает. Но, возможно, доктора запретят ему выступать судьей в касающемся его самого процессе; и автократ Гарри Смит того гляди снова получит возможность править бурей.

Но, честно говоря, в глубине души кое-что страшило узника еще сильнее, чем тюрьма. Он опасался – и этот страх буквально его подтачивал, – что его фантастическое объяснение вооружит противника. Он боялся, как бы его не объявили сумасшедшим и не поместили в более гуманные и гигиенические условия.

И, между прочим, всякому, кто наблюдал бы за ним вот сейчас, легко можно было бы простить некоторые сомнения на этот счет. Хьюм продолжал смотреть прямо перед собой очень, очень странным взглядом. Но сейчас он смотрел уже не так, как смотрят, когда ничего не видят; скорее, он явственно видел что-то. Ему представилось, что, как отшельнику в келье, ему явилось видение.

– Да, очень может быть... – сказал он громко, безжизненно отчетливым голосом. – Разве не говорил апостол Павел: потому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению...² Несколько раз я видел, как видение входило в дверь; и надеялся, что оно реально. Но как может человек вот так войти в дверь тюрьмы... Однажды, когда она вошла, комната наполнилась трубным громом, в другой раз – криком, как шумом ветра, и была драка, и я убедился, что умею ненавидеть и умею любить. Два чуда за одну ночь. Как вы думаете, то есть при условии, что вы не сон и можете что-то думать? Но я бы предпочел, чтобы вы тогда были реальны.

– Оставьте! – сказала Барбара Трэйл. – Я сейчас реальна.

– Значит, вы утверждаете, что я не спятил, – спросил Хьюм, не отрывая от нее взгляда, – и тем не менее вы здесь?

– Вы единственный человек в совершенно здоровом уме из всех, кого я знаю, – сказала Барбара.

² Со слова «потому...» – *Деяния Апостолов, 26, 19.*

– Господи, – сказал он. – Но я только что наговорил такого, что произносится только в домах умалишенных – если не в небесных видениях.

– Вы наговорили такого, – сказала она тихонько, – что я хотела бы послушать вас еще. То есть насчет всей этой истории. Вот вы сказали... как вы думаете... может быть, я вправе знать?

Он хмуро уставился в стол и потом сказал, уже резче:

– В том-то и беда, что вам, по-моему, как раз и не следовало бы ничего знать. Поймите, это же ваша семья; зачем вас во все это впутывать... и вам пришлось бы держать язык за зубами ради кого-то, кто вам дорог.

– Ну хорошо, – дрожащим голосом сказала она, – мне уже пришлось самой во все это впутаться ради кого-то, кто мне дорог.

Минуту она помолчала и продолжала дальше:

– Никто никогда для меня ничего не сделал. Мне предоставили сходить с ума в respectable жилище, и раз я окончила модную школу, никто не тревожился, что я могу кончить опиумом. Я ни с кем прежде толком не разговаривала. И теперь уже ни с кем больше разговаривать не захочу.

Он вскочил на ноги; встряска, подобная землетрясению, вывела его наконец из окаменелого недоверия к счастью.

Он схватил ее за обе руки, и из него посыпались такие слова, каких он никогда не предполагал в своем речевом запасе. А она, настолько его моложе, смотрела на него ровным, сияющим взглядом, со спокойной улыбкой, будто она мудрее и старше; и наконец она сказала:

– А теперь рассказывайте.

– Вы должны понять, – выговорил он, не сразу придя в себя. – Я ведь сказал тогда чистую правду. Я вовсе не сочинил волшебную сказку, чтобы выручить давно заблудшего в Австралии брата и прочее, и прочее, о чем сочиняют романы. Я действительно всадил пулю в вашего дядюшку, и туда именно, куда намеревался всадить.

– Я знаю, – сказала она. – Но все-таки я уверена, что знаю далеко не все. Я знаю, за этим кроется какая-то удивительная история.

– Нет, – сказал он. – Ничего за этим не кроется удивительного. Разве что на удивление неудивительная история.

Он минутку задумчиво помолчал и продолжал дальше:

– История в самом деле проста, как мир. Удивительно, что подобные вещи не случались уже тысячи раз. Удивительно, что о них уже не сочиняли тысячи разных историй.

В данном случае некоторые исходные данные вам известны.

Вы знаете балкон вокруг моей сторожки; знаете, что, глядя с него, видишь все далеко-далеко кругом, как на географической карте. Ну вот я и посмотрел с него и все увидел: ряд домиков, и стену, и тропу за нею, и смоковницу, и дальше эти оливы, и конец стены, и потом эти голые склоны и прочее. Но я увидел и кое-что неожиданное: я увидел стрельбище. Это был, вероятно, срочный приказ; вероятно, люди всю ночь работали. И, пока я смотрел, я увидел вдали точку, как бы точку над *i*; и это был человек, стоявший у ближайшей мишени. Потом он сделал кому-то, еще более дальнему, какой-то знак и быстро удалился. Хоть фигурка была крошечная, каждый жест мне о чем-то говорил; совершенно очевидно, он спешил убраться, покуда не началась пальба по мишеням. И почти тотчас я увидел еще кое-что. Ну, в общем, я увидел одну вещь. Я увидел, отчего леди Смит была так расстроена и отчего она ушла от гостей в глубь сада.

Барбара уставилась на него в изумлении; но он продолжал:

– Вдоль тропы от резиденции к смоковнице двигалось нечто знакомое. Оно подпрыгивало над длинной садовой стеной, отчетливое, как в театре теней. То был цилиндр лорда Толбойза. Тут я вспомнил, что он всегда совершает моцион вдоль этой стены и выходит далее на открытый склон; и вдруг меня кольнуло подозрение, что он не подозревает, что там теперь устроено стрельбище. Вы знаете, какой он глухой. Я даже сомневаюсь иной раз, слышит ли он все, что ему докладывают; иной раз я опасуюсь, что ему докладывают именно так, чтобы он не услышал. Во всяком случае он, по всей видимости, уверенно следовал по обычному своему маршруту; и тут меня как громом поразила незыблемая и страшная уверенность.

Больше не буду об этом сейчас говорить. И впредь постараюсь говорить об этом поменьше. Но я знаю кое-что такое, чего вы, полагаю, не знаете о здешней политике, и кое-что подготовило этот

жуткий момент. Словом, я имел достаточно оснований для смятения. Смутно чувствуя, что вмешательство чревато борьбой, я схватил свое старое ружье и бросился вниз по склону, к тропе, отчаянно размахивая руками, пытаюсь остановить его. Он не видел меня и не слышал. Я пустился вдогонку по тропе, но он слишком далеко ушел. Когда я добежал до смоковницы, я понял, что опоздал. Он был уже на полпути к оливам, и самый быстрый бегун не мог бы его догнать до того, как он дойдет до угла.

Я ненавидел того идиота, каким человек выглядит на фоне судьбы. Я видел тощую, важную фигуру, увенчанную дурацким цилиндром; и эти большие уши... большие, ослиные уши. Что-то мучительно несуразное было в невинной спине, красующейся на поле смерти. Ведь я уверен был, что, едва он завернет за угол, его поразит прицельный огонь. Мне пришла в голову единственная вещь, и я ее сделал. Хейтер счел меня помешанным, когда я спросил его, не случилось ли ему кого-нибудь вешать, чтоб спасти от повешения. А я сыграл эту шутку. Я выстрелил в человека, чтобы спасти его от выстрела. Я всадил пулю ему в икру, и он рухнул метрах в двух от угла. Я минутку подождал, увидел, как из ближнего дома выбежали люди, как его подобрали. Об одном я действительно жалею. Почему-то я решил, что дом возле смоковницы необитаем, и, швырнув ружье в сад, чуть не подвел старого осла священника. А потом я пошел домой и стал ждать, когда они меня вызовут давать показания против Грегори.

Он закончил рассказ с обычным своим самообладанием, но Барбара все смотрела на него с недоумением, даже с тревогой.

– Но как же... – спросила она. – Но кто же?..

– Все было на редкость рассчитано, – сказал он. – Я, наверное, ничего бы не смог доказать. Все выглядело бы как несчастный случай.

– То есть, – проговорила Барбара, – на самом деле это не был несчастный случай?

– Я уже сказал, мне сейчас не хочется больше об этом рассказывать, но... Послушайте... вы из тех, кто любит все додумывать до конца. Я прошу вас подумать о двух вещах; и потом вы сами освоитесь с выводами.

Первая вещь такая. Я вам уже говорил – я человек умеренный. Я против всякого экстремизма. Но когда журналисты и милые господа по клубам утверждают то же самое, обыкновенно они упускают из виду, что есть разные сорта экстремистов. Обыкновенно они помнят только про революционных экстремистов. Поверьте, реакционеры точно так же способны на крайности. История всех междоусобий и распрей доказывает, что на насилие равно способны патриции и плебеи, гибеллины и гвельфы, люди Вильгельма Оранского и фении, фашисты и большевики, куклуксклановцы и сицилийские анархисты. И когда политический деятель приезжает из Лондона с предложением компромисса в кармане, он срывает все планы не одних только националистов.

Вторая вещь – более личного свойства, для вас особенно. Вы как-то мне говорили, что опасаетесь за душевное здоровье членов семьи на том основании, что сами вы склонны к мечтательности и у вас слишком развито воображение. Поверьте, сходят с ума вовсе не люди с богатым воображением. Даже в самом трагическом состоянии духа они не теряют рассудка. Их можно всегда встряхнуть, разбудить от страшного сна, поманив более светлыми видами, потому что у них есть воображение. Сходят с ума люди без воображения. Упрямые стоики, преданные одной идее и понимающие ее слишком буквально. Молчальники, которые дуются-дуются, кипят, пока не взорвутся.

– Знаю, – поспешно перебила она. – Не надо, не говорите, я все, по-моему, поняла. Я тоже скажу вам две вещи; они короче, но связаны с предыдущим. Дядюшка меня послал сюда с полицейским, у которого приказ о вашем освобождении... а заместитель губернатора уезжает домой... отставка по состоянию здоровья.

– Лорд Толбойз не дурак, – сказал Джон Хьюм. – Раскусил.

– Боюсь, он раскусил еще кое-какие вещи, – сказала Барбара.

Об этих кое-каких вещах мы вовсе не обязаны распространяться; но Хьюм говорил о них и говорил, покуда наконец не вынудил даму к несколько запоздалым протестам. И она сказала, что он ей кажется вовсе не таким уж умеренным.